

ЛЕВ СЛАВИН

ИЗБРАННОЕ



SHOUT
SHARE **IT**

- Лев Славин



Лев Славин

Черты из жизни Михаила светлова

Одно время Михаил Светлов и я не расставались. Это были грозные дни начала войны.

Двадцать второго июня сорок первого года я снова стал военным корреспондентом. Говорю «снова» потому, что до того я уже участвовал как корреспондент в одном из военных конфликтов.

Я снова увидел своего старого редактора, уже известного мне по работе в боевой обстановке прежних лет. Он мало изменился. То же тощее ловкое тело. Та же резкая телеграфическая речь. Та же внезапность решений. Работать с ним было интересно и тяжело. Превосходный газетчик, журналист «божьей милостью», он иногда был подвержен необъяснимым капризам. На фронте его отличало предельное бесстрашие. Того же он требовал от всех нас.

Разумеется, я не хочу приравнять труд военного корреспондента к подвигу солдата. Правда, случалось, что и корреспонденты ходили в атаку. Да, но только – *случалось*. И в атаку, и в разведку, и в десант, и в подлодке хаживали, и на бомбежки летывали.

Но это все не вменялось журналисту в обязанность. Работа у него одна: добыча материала для газеты. И все. А каким образом – дело его. В поисках материала военные корреспонденты, случалось, и погибали. В газетах «Красная звезда» и «Известия» было выбито не менее половины корреспондентского корпуса. Так что можно сказать, что гибель в бою входила в число профессиональных трудностей журналиста на фронте.

Увидев меня, редактор вскочил и прижал меня к груди. Между ветеранами военной печати существовало своего рода братство. Оно сохранилось до сих пор. Круг стал теснее, но чувства от этого только окрепли.

Редактор осведомился о моих пожеланиях. Мне хотелось поехать на Юго-Западный фронт, там работали военными корреспондентами мои близкие друзья. Сказав об этом редактору, я тотчас понял, что сделал промах. За два года «гражданки» я успел позабыть о некоторых чертах его характера. Я попросился на Юг и тотчас был направлен на Север.

Так я попал в Ленинград на Северо-Западный фронт.

До отъезда мне было предоставлено несколько дней для устройства личных дел. Таким образом я увидел Москву первых

дней войны.

На площадях у вокзалов толпились мобилизованные. Поэты и циркачи, взгромоздившись на дощатые, наспех сбитые подмости, развлекали призывников стихами и патриотическими клоунадами. На бульварах появились аэростаты воздушного заграждения, огромные серебряные киты, дремавшие под деревьями в цвету. Стояло сладкое обильное лето. Затемнение, короткие часы полного мрака были вновинку и никого не пугали.

Война в те дни не страшила. Мы верили в мощь Красной Армии, в мощь страны, в свою мощь.

В Ленинграде было тревожнее. Враг недалеко. Город стал многолюднее, чем в мирное время. Кругообразная линия фронта – будущее кольцо блокады – гнала сюда людей из многих мест.

Вскоре ко мне присоединился Светлов. В ту пору ему было под сорок. Но никто из знавших его не станет отрицать, что он оставался молодым и в шестьдесят лет. Мы с ним поехали на запад в расположение 8-й армии. В Политуправлении мы встретили жизнерадостного Апресьяна, одного из любимых учеников академика И. П. Павлова, и писателя Руд. Бершадского, худенького, в эстонской шинели. Он проделал поход от самого Таллина и выглядел уставшим.

Армия отступала с боями. Картина войны стала для нас выясняться. Светлов помрачнел. Никогда ни раньше, ни позже я не видел этого всегда радостного и нежного человека таким подавленным и одновременно возмущенным. Им владело какое-то гневное удивление. Слишком разительно было противоречие между нашим привычным представлением о боевой мощи Советского Союза и отступлениями в те дни войны.

Иногда Светлов восклицал:

– Если б *им* все объяснить!

Под *ними* он разумел немцев. Наивно, не правда ли? Но эта наивность имела свою подкладку: доброту. Особенную, всеобъемлющую доброту Светлова, о которой я еще буду иметь случай говорить дальше.

Вот почему, хоть он много и хорошо писал в военной печати и часто выступал по радио из осажденного Ленинграда, эта работа не полностью удовлетворяла его.

– Понимаешь, – говорил он, – мы агитируем не того, кого надо. Мы своих агитируем. А своих что агитировать? Они и так убеждены, что Гитлеру надо сломать холку. Немцев – вот кого надо агитировать, чтобы они очухались и сами сломали Гитлеру холку.

Когда позже, в 1943 году, я снова встретил Светлова и мы вспоминали горькую героину начала войны, я спросил его, по-

прежнему ли он убежден, что надо пропагандировать гитлеровцев.

Он сказал:

– Знаешь, старик, я уже раскусил их. Эти лингвисты понимают только один язык: язык оружия.

Тогда же он прочел мне своего изумительного «Итальянца», только что им написанного:

Я не дам свою родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю – и нет справедливости
Справедливее пули моей!

Другой поэт на этих прекрасных строках закончил бы стихотворение. Но Светлов не был бы Светловым, если бы не прибавил:

Никогда ты здесь не жил и не был!...
Но разбросано в снежных полях
Итальянское синее небо,
Застекленное в мертвых глазах...

Убив оккупанта, он его пожалел. Всеобъемлющая доброта!

Фронт уже врезался в город. Две армии, четыре танковые дивизии, три воздушных корпуса рвались в Ленинград. К боевым участкам подвозил трамвай. За пятнадцать копеек он доставлял нас к рубежу обороны. У ворот Кировского завода кондуктор объявлял: «Конечный пункт, дальше фронт». Немецкие позиции были всего в шести километрах от завода, «оскорбительно близко», как незабываемо сказал Александр Штейн. Немцы стояли на восточной окраине Урицка и обстреливали город уже не только из тяжелых, но и из легких орудий. На Московском шоссе ротный патронный пункт расположился в квартире одного знакомого журналиста, по каковому поводу Светлов заметил ему:

– Старик, приглашаешь нас к себе на патроны?

На перекрестках моряки складывали в окна кирпичные бойницы. Штурм следовал за штурмом. Уменьшился паек. К концу ноября рабочие получали двести пятьдесят граммов хлеба, служащие, иждивенцы и дети – сто двадцать пять граммов. Иногда давали дрожжевой суп без выреза талона, и это был праздник. В те дни в Ленинграде осталось продуктов на две недели. Подвоза не было. Ели крапиву, липовые листья, прошлогоднюю червивую картошку, которую трагический юмор

народа окрестил: «тошнотики».

Немцы взяли Тихвин. Они рассчитывали овладеть Волховстроем, соединиться с финнами в Петрозаводске и замкнуть таким образом вокруг Ленинграда второе кольцо блокады.

С Ржевского и Смольнинского аэродромов увозили детей, раненых, лауреатов Сталинской премии, рабочих эвакуированных заводов. Самолеты потеряли последнюю тень романтики. В них была давка, как в трамвае в часы пик.

Мы со Светловым ходили обедать в маленький буфет при редакции фронтовой газеты «На страже Родины». Он помещался в самом начале Невского проспекта в темноватой комнатке на первом этаже. Обеды приносили в ведрах из соседней столовой и здесь подогревали на примусах. Рядом с буфетом зиял большой провал в стене: снаряд попал в магазин пишущих машинок.

Жили мы неподалеку среди нищего великолепия гостиницы «Астория», той самой, где гитлеровцы уже назначили офицерский банкет по случаю предстоящего взятия Ленинграда. Даже и число было обозначено на специальных пригласительных билетах – один из осенних дней сорок первого года. Ожидание этого банкета несколько затянулось. Так годика на три. В конце концов немцы, как известно, драпанули обратно к своему Берлину, где их ждало горькое похмелье после несостоявшегося пира в «Астории».

Писали мы обычно ночью, заставив окно фанерой и засветив фонарь «летучая мышь». Гостиница была почти пуста, ни света, ни воды. Окна первого этажа были закрыты мешками с песком. В сквере против гостиницы вместо георгинов и флоксов мирного времени выращивали укроп, картофель, лук.

Мы могли бы поселиться в роскошных номерах, где останавливались коронованные особы и известных под именем «апартаменты принца Геджасского». Но предпочли занять самые дешевые маленькие и полутемные номера, так как окна там упирались в кирпичную стену. Это составляло главную привлекательность таких комнат, потому что стена защищала от попадания артиллерийских снарядов. Артобстрел считался опаснее бомбежки, он разражался внезапно без предварительного оповещения: «Тревога!»

На стенах домов появились надписи:

«Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!»

А на одной маленькой столовой в начале Невского висело даже такое объявление – оно очень смешило Светлова:

«Вход в столовую без противогаса воспрещен».

Мы уже научились по звуку определять калибр пролетающих

снарядов. И даже самый штатский из нас Миша Светлов, вслушавшись, говорил с видом знатока:

– Старик, по-моему, это сто пять миллиметров из-за Пулковских.

Однажды мы со Светловым пришли на завод, где делали автоматы. Ветер вбивал через бреши в стенах мокрый снег. Электрического тока не было. Но станки работали. Вручную! Двое рабочих крутили станок. Третий сверлил и шлифовал стволы автоматов.

Пока мы наблюдали эту поразительную картину, в цех пришли три автоматчика. Они пришли с ближайшего участка фронта. Для этого не нужно было много времени. Они похвалили автоматы, но была у них и претензия к заводу: приклад слабоват.

– Хватишь его по голове – дерево ломается, – пояснил один из них.

– А вы не по лбу, – серьезно посоветовал Светлов.

Полупустынный Ленинград весь в пожарах, в разрывах снарядов, в голодных смертях, отчаянно дравшийся и неистово работавший, потрясал и восхищал Светлова. Как-то он показал мне книгу старых арабских легенд.

– Здесь про Ленинград, – сказал он.

Я удивился.

Он прочел подчеркнутую им фразу:

«Сахара была просеяна через сито, и в сите остались львы...»

Днем тракторы растаскивали на топливо деревянные дома. Однажды ночью горели за Невой «Американские горы». Зарево в полнеба. На фоне его – ослепительно освещенные этим трагическим светом – Ростральная колонна и белая башня Петропавловского собора.

Почти каждый день мы отправляли свои корреспонденции в Москву по радио. В один из сентябрьских дней (если не ошибаюсь, 18 сентября) был прерван и этот последний вид связи с Большой землей (не считая, конечно, воздушной почты): над Ленинградом разразилась магнитная буря. В небе бушевало северное сияние. Мы со Светловым шли в ту ночь по Суворовскому проспекту, возвращаясь из Смольного, из штаба фронта. Миша смотрел в небо на сумасшедшую пляску гигантских огненных сполохов. Потом сказал:

– В этом есть что-то подавляющее, что-то более сильное, чем война, чем человечество...

Глаза его сощурились, лицо пересекли морщины иронии, и он прибавил:

– Я, кажется, стал похож на того старичка, который, выйдя из

планетария, сказал: «А еще говорят, что бога нет...»

Ирония Светлова! Есть люди, которые появились на свет, чтобы обличать. Другие – чтобы властвовать. Третьи – чтобы спасти человечество (эти, случалось, бывали опаснее всех). Светлов родился, чтобы радоваться и чтобы радостью своей делиться с другими. Радоваться и радовать. Отсюда всеобъемлющий (как и у его доброты) характер его обаяния. Светлов был площадкой, на которой сходились все. Излучение радости исходило от него всегда, как и его знаменитая ирония. Иной раз она проявлялась в такие моменты, когда не каждый способен был воспринять ее. Мы как-то с ним попали под довольно жестокий обстрел, а такие ситуации не очень располагают к шутливости. Лежавший рядом со мной Светлов вдруг сказал:

– Старик, ты представляешь себе, один снаряд в задницу, и – талант, успех у женщин, гениальные мысли, большие тиражи, все это – трах! – к чертовой матери!

Ирония, которая обычно является благодетельной дистанцией между художником и действительностью, иногда у Светлова превращалась в избыток дистанции.

Я сторонник объемных трехмерных характеристик. Они дают возможность восстановить образ ушедшего во всем его душевном богатстве. Именно потому, что доброта Светлова распространялась более вширь, чем вглубь, он завоевывал все сердца.

Я никогда не видел его в инертном, в нейтральном состоянии, в позиции воздерживающегося. Он всегда был или «за» или «против». Состояние душевной невесомости было несвойственно ему до такой степени, что как только ему становилось скучно, он стремглав бежал от источника скуки, будь то книга, гость, заседание или подруга. Я не знаю, сохранились ли его записи о блокадном Ленинграде. Это нельзя было назвать дневником. Это были отрывочные наблюдения, солдатские разговоры, отдельные стихотворные строчки.

– Слушай, старик, – сказал он как-то, – какую пьесу можно написать о Ленинграде! Если я выживу, я буду писать пьесы.

Он так и сделал. Он написал после войны еще несколько пьес. Он любил писать для театра. Пьесы его трудны для постановки. Они слишком лиричны. Этот человек, казавшийся таким мягким, не шел на компромиссы ни в чем – в театре тоже. Он не шел на сделку с грубостью театра. Пьесы его превосходны. Но для того чтобы они удались на сцене, нужно, чтобы не только автор, но и постановщик, и художник, и композитор, и все исполнители были Светловы. А где их столько наберешь? И

одного-то мы получили только однажды.

Кольцо вокруг Ленинграда становилось все туже. Город готовился к уличным боям. Некоторые корреспонденты помимо обязательного пистолета обзавелись автоматами и гранатами. Один Светлов ходил без оружия. Он не был в кадрах армии и не состоял на армейском снабжении. Я привел его на артсклад к знакомому воентехнику.

– Пистолетов «ТТ» у меня сейчас нет, – сказал воентехник, – но вот вам старый добрый наган.

Миша ответил:

– Это как раз мне подходит, потому что сам я молодой и злой.

Он с удовольствием вертел в руках наган. По-видимому, он обрадовался ему. Возможно, в нем вспыхнула мальчишеская страсть к оружию. За все наше с ним пребывание на фронте он обнажил его только один раз, когда собирался застрелить меня.

Вот как это произошло.

Немцы уже заняли завод «Пишмаш» в черте города. В больнице имени Фореля был штаб армии. Когда мы взбирались на крыши многоэтажных домов к наблюдательным пунктам контрбатарейщиков, мы явственно видели немецкие расположения.

Пятнадцатого и шестнадцатого сентября были невиданные по продолжительности артобстрелы города: каждый длился свыше восемнадцати часов!

Позже, через два года, когда блокада была разорвана и немцы бежали из-под Ленинграда, были найдены некоторые их документы, брошенные или утерянные в спешке отступления. В том числе – планы Ленинграда, изданные гитлеровцами. Они испещрены цифрами. Вот, например, № 736 – и тут же инструкция: стрелять по нему осколочно-фугасными снарядами. Что же скрывалось за этим номером? Школа в Бабурином переулке... А вот по № 192 приказано стрелять фугасно-зажигательными. № 192 – это Дворец пионеров... А по № 757 – многоэтажный жилой дом на Большой Зелениной – фугасными и бризантными...

Корреспондентский долг заставлял нас находиться на улицах. В один из этих горячих дней, возвращаясь от коменданта города, я свернул с Садовой на Невский и по ту сторону проспекта увидел Светлова. Он перебежал ко мне, схватил меня за руку и потащил через мостовую на противоположную сторону к Гостиному двору.

– В чем дело? – спросил я, вырываясь.

– Старик, загар тебе не к лицу, – сказал он.

Дело объяснилось просто. Светлов, оказывается, уже знал то,

чего я еще не знал: когда немецкие батареи стреляли с Дудергофских высот, солнечная сторона улицы была опаснее тенивой.

Над городом висел, как второе небо, необъятный и бесконечный орудийный грохот. Изоштившийся слух наш различал в этой адской кутерьме ободряющий гром наших пулковских и колпинских батарей. Через головы ленинградцев били наши балтийские эсминцы, кронштадтские форты, башни линкоров и крейсеров.

Никогда еще положение Ленинграда не было таким угрожающим. В штабе фронта нам показали перехват гитлеровского радио:

«Немецкие войска проникли в Ленинград».

Миша добавил:

«Передачу ведет барон Мюнхгаузен».

Как описать наши чувства в те дни? Я был твердо уверен, что немцы не пройдут. Может быть, моя уверенность проистекала из того, что я был в кадрах армии и имел командирское звание. Это много значило. Я ощущал себя частицей великого коллектива Красной Армии. Позади нас – родина. Мы выметем фашистов в их логово и там перешибем им хребет. Это было больше, чем вера в победу, это было сильнее, чем предвидение победы, это было *знание*: мы победим!

Когда Светлов возвращался с переднего края, он бывал преисполнен бодрости.

– Знаешь, что я видел на Пулковской высоте? – сказал он. – Орудие с «Авроры». Да, да, то самое, которое грохнуло по Зимнему дворцу в семнадцатом году. Так вот оно сейчас стоит на огневой позиции и грохает по немцам. Здорово, а? Нет, ты только вдумайся! Сама октябрьская революция бьет по фашистам!

А когда в тот же день мы проходили по Дворцовой площади, Миша сказал:

– Знаешь, сколько отсюда до немцев?

– Знаю: четырнадцать километров. Ну и что? Он ничего не ответил.

А вечером к нам пришли два известных кинорежиссера и предложили организовать вместе с ними партизанский отряд ввиду неизбежности падения Ленинграда.

– Они не пройдут, – быстро сказал я, прежде чем Миша успел согласиться.

Я рассказываю обо всем этом для того, чтобы было понятно,

почему Светлов обнажил свой револьвер, чтобы убить стоящего перед ним.

В эти дни – от двенадцатого до двадцать пятого сентября – шли непрерывные штурмы Ленинграда с ближних подступов, местами просто с окраин города. На Ленинград бросились шестнадцать пехотных, три механизированных и несколько танковых дивизий.

В сущности, это был один сплошной штурм, не прерывавшийся в течение тринадцати дней.

В один из них Светлов поднялся непривычно рано. Ему не спалось. Он снял трубку внутреннего телефона и позвонил к товарищу корреспонденту. Тот, раздосадованный тем, что его разбудили, послал Мишу к черту.

– Кто это говорит? – обеспокоенно спросил Светлов, не узнав голоса.

Корреспондент прохрипел угрожающе:

– Это вы сейчас узнаете.

И бросил трубку.

В этом хриплом спросонья голосе Светлову почудился немецкий акцент. Его легко возбудимое воображение, щедрое и податливое, бешено заработало. Прорвались? Рассыпались по городу! Идут уличные бои! Захватили «Асторию»!

Он быстро подпоясался и расстегнул кобуру.

В это время раздался нетерпеливый и, как показалось Мише, повелительный стук в дверь.

И когда в овальном матовом стекле сверху двери смутно обозначились неясные очертания чьей-то головы, Светлов уже не сомневался: немцы!

И он решил дорого продать свою жизнь.

Он не станет ждать, пока они вломятся в комнату. Еще один стук в дверь, и он будет стрелять в эту фашистскую башку, отвратительно темнеющую за стеклом.

Нет, надо как следует представить себе эту картину.

Стало быть, по ту сторону двери – в представлении Светлова – орава фашистских убийц, отборные эсэсовцы, может быть, сам фельдмаршал Риттер фон Лееб, явившийся в «Асторию» отпраздновать обещанный офицерский банкет победы.

По эту сторону – худенький Миша Светлов с наганом в вытянутой (и слегка дрожащей) руке и с решительно сжатыми губами.

Конечно, это смешно, принимая во внимание, что в коридоре стоял не фельдмаршал Риттер фон Лееб и не полицейская дивизия СС, а всего только я. (Я шел завтракать в наш буфетик на

Невском и постучался к Мише, чтобы взять его с собой.) Подождав немного и не услышав ответа, я поднял руку, чтобы постучать вторично, но передумал – пускай поспит еще – и опустил руку, не подозревая, что этим движением я спас свою жизнь.

Да, это смешно. Но это и трогательно, учитывая несоизмеримость противостоящих друг другу сил, когда Светлов решил, выступить один против двадцати двух пехотных, моторизованных и танковых дивизий.

В этом его решении было что-то рыцарское, была та «высокая честь», о которой он писал в бессмертной «Гренаде» и которая всегда лежала в основе его натуры и в критические моменты вспыхивала со взрывчатой силой.

Так он стоял, широко расставив ноги, слегка наклонив торс и простерев руку, в позе солдата, изготовившегося стрелять, стоял минуту, три, пять – воплощение мужества и героизма. Постепенно рука стала замлевать, невыносимо зазудило где-то между лопатками (он даже позволил себе на мгновение почесать спину наганом), в ногах забегали мурашки, и страшно захотелось есть, даже в животе забурчало. Тем временем снизу, со двора, донеслись, как каждое утро, мирные звуки пилки и колки дров. Где-то звучно выбивали ковер. Кто-то в коридоре совершенно обыденным голосом клянчил у уборщицы горячей воды для бритья.

Миша как безумный ринулся на Невский, в буфет. Он был потрясен, но старался, как всегда, прикрыть это шуткой. После объяснения, полного крепких речений и хохота, между нами произошел такой обмен репликами:

Он: Да, старик, все-таки Дантеса из меня не получилось.

Я: Не расстраивайся, Миша, ведь, между нами говоря, и я далеко не Пушкин.

Он тут же выдал мне двадцать копеек за эту репризу.

Прилетев в Москву и встретив мою жену, он сказал ей:

– Знаешь, старуха, я чуть не сделал тебя вдовой.

Всю жизнь он любил рассказывать об этом ленинградском происшествии. В последний раз мы со Светловым вспоминали об этом незадолго до его конца, уточняли обстановку, фантазировали на тему: «что было бы, если бы...» При этом выяснилась одна новая подробность.

Я спросил:

– Что было бы, когда ты узнал бы, что ты убил меня?

Миша изумленно посмотрел на меня:

– Я не узнал бы.

– Почему?

– Потому что следующую пулю я собирался пустить в себя.
Неужели ты думаешь, что я дался бы им в руки живым!

Сказано это было в свойственной Светлову манере – мягкой и непреклонной.

1968